



Стефан Цвейг

**Вчерашний
мир**

Воспоминания
европейца

Стефан Цвейг

**Вчерашний мир.
Воспоминания европейца**

«Азбука»

1943

УДК 821.112.2(436)

ББК 84(4Авс)-44

Цвейг С.

Вчерашний мир. Воспоминания европейца / С. Цвейг —
«Азбука», 1943

ISBN 978-5-389-30593-9

«Вчерашний мир» – последняя книга знаменитого австрийского писателя Стефана Цвейга, созданная в изгнании, в самый разгар Второй мировой войны. Прежде всего, это книга-прощание. Последний раз Стефан Цвейг оглядывается на величественное здание европейской культуры, приговоренное к сносу немецкими войсками. Перечисляет названия книг, городов и улиц, счастливые и печальные события, из которых сложилась первая половина XX столетия, с любовью пишет о людях, знакомством с которыми гордится. Однако «Вчерашний мир» – не просто сборник воспоминаний. Книга задумана как беспощадная исповедь сына своего столетия. «Много должно было произойти, – пишет Цвейг в предисловии, – событий, испытаний и катастроф, прежде чем я нашел в себе мужество начать книгу, в которой мое „я“ – главный герой».

УДК 821.112.2(436)

ББК 84(4Авс)-44

ISBN 978-5-389-30593-9

© Цвейг С., 1943

© Азбука, 1943

Содержание

Предисловие	7
Мир надежности	10
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Стефан Цвейг

Вчерашний мир. Воспоминания европейца

Stefan Zweig

DIE WELT VON GESTERN

© Г. Е. Каган, перевод, 1987

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024 Издательство Азбука®

* * *

Стефан Цвейг

Вчерашний мир

Воспоминания
европейца



АЗБУКА
Санкт-Петербург

Предисловие

*Такими время встретим мы,
какими нас оно застигнет.*

Шекспир. Цимбелин

Я никогда не придавал своей персоне столь большого значения, чтобы впасть в соблазн рассказывать другим историю моей жизни. Много должно было произойти – намного больше, чем обычно выпадает на долю одного лишь поколения, – событий, испытаний и катастроф, прежде чем я нашел в себе мужество начать книгу, в которой мое «я» – главный герой или, лучше сказать, фокус. Ничто так не чуждо мне, как роль лектора, комментирующего диапозитивы; время само создает картины, я лишь подбираю к ним слова, и речь пойдет не столько о моей судьбе, сколько о судьбе целого поколения, отмеченного столь тяжелой участью, как едва ли какое другое в истории человечества. Каждый из нас, даже самый незначительный и незаметный, потрясен до самых глубин души почти непрерывными вулканическими содроганиями европейской почвы; один из многих, я не имею иных преимуществ, кроме единственного: как австриец, как еврей, как писатель, как гуманист и пацифист, я всегда оказывался именно там, где эти подземные толчки ощущались сильнее всего. Трижды они переворачивали мой дом и всю жизнь, отрывали меня от прошлого и швыряли с ураганной силой в пустоту, в столь прекрасно известное мне «никуда». Но я не жалею: человек, лишенный родины, обретает иную свободу – кто ничем не связан, может уже ни с чем не считаться. Таким образом, я надеюсь соблюсти по меньшей мере хотя бы главное условие любого достоверного изображения эпохи – искренность и беспристрастность, ибо я оторван от всех корней и даже от самой земли, которая эти корни питала, – вот я каков теперь, чего не пожелаю никому другому.

Я родился в 1881 году в большой и могучей империи, в монархии Габсбургов, но не стоит искать ее на карте: она стерта бесследно. Вырос в Вене, в этой двухтысячелетней наднациональной столице, и вынужден был покинуть ее как преступник, прежде чем она деградировала до немецкого провинциального города. Литературный труд мой на том языке, на котором я писал его, обращен в пепел именно в той стране, где миллионы читателей сделали мои книги своими друзьями. Таким образом, я не принадлежу более никому, я повсюду чужой, в лучшем случае гость; и большая моя родина – Европа – потеряна для меня с тех пор, как уже вторично она оказалась раздираема на части братоубийственной войной. Против своей воли я стал свидетелем ужасающего поражения разума и дичайшего за всю историю триумфа жестокости; никогда еще – я отмечаю это отнюдь не с гордостью, а со стыдом – ни одно поколение не претерпевало такого морального падения с такой духовной высоты, как наше. За краткий срок, пока у меня пробилась и поседела борода, за эти полстолетия, произошло больше существенных преобразований и перемен, чем обычно за десять человеческих жизней, и это чувствует каждый из нас, – невероятно много!

Настолько мое Сегодня отличается от любого из моих Вчера, мои взлеты от моих падений, что подчас мне кажется, будто я прожил не одну, а несколько совершенно непохожих друг на друга жизней. Поэтому всякий раз, когда я неосторожно роняю: «Моя жизнь», я невольно спрашиваю себя: «Какая жизнь? Та, что была перед Первой мировой войной, или та, что была перед Второй, или теперешняя?» А потом снова ловлю себя на том, что говорю: «Мой дом» – и не знаю, какой из прежних имею в виду: в Бате ли, в Зальцбурге или родительский дом в Вене. Или я говорю: «У нас» – и вспоминаю с испугом, что давно уже так же мало принадлежу к гражданам своей страны, как к англичанам или американцам; там я – отрезанный ломоть, а здесь

– инородное тело; мир, в котором я вырос, и сегодняшний мир, и мир, существующий между ними, обособляются в моем сознании; это совершенно различные миры. Всякий раз, когда я рассказываю молодым людям о событиях перед первой войной, я замечаю по их недоуменным вопросам, что многое из того, что для меня все еще существует, для них выглядит уже далекой историей или чем-то неправдоподобным. Но в глубине души я вынужден признать: между нашим настоящим и прошлым, недавним и далеким, разрушены все мосты. Да я и сам не могу не поразиться всему тому, что нам довелось испытать в пределах одной человеческой жизни – даже такой максимально неустроенной и стоящей перед угрозой уничтожения, – особенно когда сравниваю ее с жизнью моих предков. Мой отец, мой дед – что видели они? Каждый из них прожил жизнь свою монотонно и однообразно. Всю, от начала до конца, без подъемов и падений, без потрясений и угроз, жизнь с ничтожными волнениями и незаметными переменами; в одном и том же ритме, размеренно и спокойно несла их волна времени от колыбели до могилы. Они жили в одной и той же стране, в одном и том же городе и даже почти постоянно в одном и том же доме; события, происходящие в мире, собственно говоря, приключались лишь в газетах, в дверь они не стучались. Правда, где-то и в те дни шла какая-нибудь война, но это была, по нынешним масштабам, скорее войнишка, и разыгрывалась-то она далеко-далеко, не слышны были пушки, и через полгода она угасала, забывалась, опавший лист истории, и снова начиналась прежняя, та же самая жизнь. Для нас же возврата не было, ничего не оставалось от прежнего, ничто не возвращалось; нам выпала такая доля: испытать полной чашей то, что история обычно отпускает по глотку той или другой стране в тот или иной период. Во всяком случае, одно поколение переживало революцию, другое – путч, третье – войну, четвертое – голод, пятое – инфляцию, а некоторые благословенные страны, благословенные поколения и вообще не знали ничего этого. Мы же, кому сегодня шестьдесят лет и кому, возможно, суждено еще сколько-то прожить, – чего мы только не видели, не выстрадали, чего не пережили! Мы пролистали каталог всех мыслимых катастроф от корки до корки – и все еще не дошли до последней страницы. Один только я был очевидцем двух величайших войн человечества и встретил каждую из них на разных фронтах: одну – на германском, другую – на антигерманском. До войны я познал высшую степень индивидуальной свободы и затем – самую низшую за несколько сот лет; меня восхваляли и клеймили, я был свободен и подневолен, богат и беден. Все бледные кони Апокалипсиса пронеслись сквозь мою жизнь – революция и голод, инфляция и террор, эпидемии и эмиграция; на моих глазах росли и распространяли свое влияние такие массовые идеологии, как фашизм в Италии, национал-социализм в Германии, большевизм в России и прежде всего эта смертельная чума – национализм, который загубил расцвет нашей европейской культуры. Я оказался беззащитным, бессильным свидетелем невероятного падения человечества в, казалось бы, уже давно забытые времена варварства с его преднамеренной и запрограммированной доктриной антигуманизма. Нам было предоставлено право – впервые за несколько столетий – вновь увидеть войны без объявления войны, концентрационные лагеря, истязания, массовые грабежи и бомбардировки беззащитных городов – все эти зверства, которых уже не знали последние пятьдесят поколений, а будущие, хотелось бы верить, больше не потерпят. Но, как ни парадоксально, я видел, что в то же самое время, когда наш мир в нравственном отношении был отброшен на тысячелетие назад, человечество добилось невероятных успехов в технике и науке, одним махом превзойдя все достигнутое за миллионы лет: покорение неба, мгновенная передача человеческого слова на другой конец земли и тем самым преодоление пространства, расщепление атома, победа над коварнейшими болезнями, о чем вчера еще можно было только мечтать. Никогда ранее человечество не проявляло так сильно свою дьявольскую и свою богоподобную суть.

Я считаю своим долгом запечатлеть эту нашу напряженную, неимоверно насыщенную драматизмом жизнь, ибо – я повторяю – мы были свидетелями этих невероятных перемен, каждого из нас вынудили быть таким свидетелем. У нашего поколения не было возможности

скрыться, бежать, как у прежних; благодаря новейшим средствам связи мы постоянно находились в гуще событий. Если бомбы разносили в щепки дома в Шанхае, мы у себя дома в Европе узнавали это раньше, чем раненых выносили из их жилищ. События, происходившие за океаном, за тысячи миль от нас, представляли перед нами воочию на экране. Не было никакой защиты, никакого спасения от этих будоражащих известий, от этого соучастия во всем. Не было ни страны, куда можно было бы бежать, ни тишины, которую можно было бы купить, всегда и всюду нас доставала рука судьбы и насильно втягивала в свою нескончаемую игру.

Нужно было постоянно подчиняться требованиям государства, становиться добычей тупоумной политики, приспосабливаться к самым фантастическим переменам, и, несмотря на отчаянное сопротивление, ты всегда был прикован к общей судьбе; неотвратимо она влекла за собой каждого. И тот, кто прошел сквозь это время или, более того, кого сквозь него прогнали, кого травили – мы знали мало передышек, – больше ощутил движение истории, чем кто-либо из его предков. И вот мы снова, в который раз, стоим на перепутье: позади – прошлое, впереди – неизвестность. И вовсе не случайно, что свой рассказ о прошлом я завершаю конкретной датой. Ибо тот сентябрьский день 1939 года подводит окончательную черту под эпохой, которая нас, шестидесятилетних, сформировала и воспитала. Но если мы нашим свидетельством передадим следующему поколению хотя бы осколок того, что ранее составляло правду, то мы трудились не совсем напрасно.

Сознаю, что обстоятельства, в которых я пытаюсь писать мои воспоминания, столь типичные для нашего времени, мало благоприятствуют решению этой задачи. Я пишу в разгар войны, на чужбине и без всего того, что могло помочь моей памяти. У меня под рукой в моем гостиничном номере нет ни одного экземпляра моих книг, нет черновиков, писем друзей. Негде о чем бы то ни было справиться, потому что во всем мире почтовая связь между странами или прервана, или затруднена цензурой. Мы все живем так же разобщенно, как сотни лет тому назад, до того как были изобретены пароход и железная дорога, самолет и почта. От всего моего прошлого, таким образом, у меня не осталось ничего, кроме того, что я ношу в своей памяти. Все остальное для меня сейчас недостижимо или потеряно. Но полезному умению не оплакивать потери наше поколение давно научилось, и, возможно, утрата документальности и деталей обернется для моей книги даже достоинством, ибо я рассматриваю нашу память не как некий инструмент, который что-то случайно задерживает, а что-то случайно утрачивает, но как силу, которая сознательно упорядочивает и мудро исключает. Все, что забывается, по сути дела, давно уже обречено на забвение. И лишь то, что сохранилось в душе, имеет какую-то ценность и для других. Так предоставляю же слово воспоминаниям – пусть они говорят вместо меня и зеркально отразят мою жизнь, прежде чем она потонет во мраке!

Мир надежности

*...В мире, в тишине растем до срока,
Но однажды – в жизнь бросают нас:
Сотни тысяч волн объемлет око,
Новизну приносит каждый час,
Неспокойно чувство, тень живая
Дразнит, обольщает на лету, —
Ощущенья гаснут, уплывая
В пеструю мирскую суету¹.*

Gème

Когда я пытаюсь найти надлежащее определение для той эпохи, что предшествовала Первой мировой войне и в которую я вырос, мне кажется, что точнее всего было бы сказать так: это был золотой век надежности. Все в нашей почти тысячелетней австрийской монархии, казалось, рассчитано на вечность, и государство – высший гарант этого постоянства. Права, которые оно обеспечивало своим гражданам, были закреплены парламентом, этим свободно избранным представителем народа, а каждая обязанность строго регламентирована. Наша валюта, австрийская крона, имела хождение в чистом золоте, что гарантировало ее устойчивость. Каждый знал, сколько он имеет и сколько ему полагается, что разрешено, а что запрещено. Все имело свою норму, свой определенный размер и вес. Кто владел состоянием, мог точно подсчитать свой годовой доход, любой чиновник и офицер – с такой же точностью высчитать по календарю, когда он получит повышение и когда выйдет на пенсию. Бюджет каждой семьи четко предусматривал, сколько придется потратить на жилье и на питание, на летний отдых и на развлечения; кроме того, неуклонно откладывалась небольшая сумма про черный день, на болезнь и врача. Кто имел дом, рассматривал его как надежное пристанище для детей и внуков, земля и профессия наследовались от поколения к поколению, и в то время, когда младенец лежал в колыбели, в копилку или сберегательную кассу помещали первый скромный взнос для его жизненного пути, маленький «резерв» на будущее. Все в этой обширной империи прочно и неизбежно стояло на своих местах, а надо всем – старый кайзер; и все знали (или надеялись): если ему суждено умереть, то придет другой и ничего не изменится в благоустроенном порядке. Никто не верил в войны, в революции и перевороты. Все радикальное, все насильственное казалось уже невозможным в эру благоразумия. Это чувство надежности было наиболее желанным достоянием миллионов, всеобщим жизненным идеалом. Лишь с этой надежностью жизнь считалась стоящей, и все более широкие слои населения добивались своей доли этого бесценного сокровища. Первыми обрели ее, в силу своего положения, богачи, но постепенно к ней получили доступ и более широкие круги: столетие надежности стало золотым веком страхового дела. Дом страховался от огня и ограбления, поле – от града и дождя, тело – от несчастных случаев и болезней; на склоне лет приобретали пожизненную ренту; девочкам в колыбель клали страховой полис – на приданое. В конечном счете объединились и рабочие, они завоевали себе достаточный заработок и больничные кассы; прислуга откладывала деньги на обеспечение старости и заранее делала взносы в страховую кассу на собственное погребение. Лишь тот, кто мог спокойно смотреть в будущее, с легким сердцем наслаждался настоящим.

В этой умирительной убежденности, что можно обнести себя частоколом, не оставив лазейки для какого бы то ни было вторжения судьбы, таилась, при всей практичности и уме-

¹ Перевод Е. Витковского.

ренности, изрядная толика опасного тщеславия. Деятнадцатое столетие в своем либеральном идеализме было искренне убеждено, что находится на прямом и верном пути к «лучшему из миров». Презрительно и свысока взирало оно на прежние эпохи с их войнами, голодом и смутами как на время, когда человечество было еще несовершеннолетним и недостаточно просвещенным. Теперь, казалось, счет шел на какие-то десятилетия, оставшиеся до той минуты, когда со злом и насилием будет покончено, и эта вера в нескончаемый, неудержимый «прогресс» имела для той эпохи поистине силу религии; в этот «прогресс» верили уже больше, чем в Библию, а его истинность, казалось, неопровержимо подтверждалась что ни день чудесами науки и техники. И действительно, всеобщий подъем в конце этого мирного столетия становился все более заметным, все более быстрым, все более многообразным. На улицах по ночам вместо тусклых огней зажигались электрические лампы, витрины центральных магазинов распространяли свой манящий, ранее неведомый блеск вплоть до пригородов, и человек уже мог, благодаря телефону, общаться с другими людьми на расстоянии, он передвигался в не запряженных лошадьми вагонах на неслыханных скоростях и взмывал ввысь, осуществив мечту Икара. Комфорт проникал из дворцов в доходные дома; теперь воду не надо было таскать из колодца или канала, тратить силы, растапливая печь; повсюду воцарилась гигиена, исчезла грязь. С тех пор как спорт закалил тела людей, они становились красивее, сильнее, здоровее; все реже встречались на улицах уроды и калеки; и все эти чудеса совершила наука, этот ангел-хранитель прогресса. Общественное устройство тоже не стояло на месте: из года в год отдельная личность получала новые права, отношение властей становилось все более мягким и гуманным, и даже проблема проблем – бедность широких масс – не казалась больше непреодолимой. Все более широким кругам предоставлялось избирательное право и тем самым возможность открыто защищать свои интересы; социологи и профессора дискутировали, предлагая рецепты, как сделать пролетариат более здоровым и даже более счастливым. Удивительно ли, что это столетие купалось в лучах собственной славы и каждое минувшее десятилетие рассматривало лишь как очередную ступень, пройденную прогрессом? В такие рецидивы варварства, как войны между народами Европы, верили столь же мало, как в ведьм и привидения; наши отцы были убеждены в прочности связующей силы терпимости и дружелюбия. Они искренне полагали, что границы и разногласия между нациями и вероисповеданиями постепенно сотрутся во всеобщем человеколюбии, а стало быть, всему человечеству суждены мир и безопасность – эти высшие блага.

Нам, живущим сегодня, давно изъевшим из своего словаря как архаизм слово «безопасность», ничего не стоит посмеяться над оптимистической иллюзией того прекраснодушного в своем ослеплении поколения, полагавшего, что технический прогресс человечества неминуемо и одновременно приводит к прогрессу нравственному. Мы, научившиеся в новом столетии не удивляться никакому проявлению коллективного варварства, мы, ожидающие от каждого грядущего дня еще более страшного злодеяния, чем то, что случилось вчера, с гораздо большим сомнением относимся к возможности морального возрождения человечества. Мы вынуждены признать правоту Фрейда, видевшего, что наша культура – лишь тонкий слой, который в любой момент может быть смят и прорван разрушительными силами, клокочущими под ним; нам пришлось постепенно привыкать жить, не имея почвы под ногами, не зная прав, свободы и безопасности. Что касается наших взглядов на жизнь, то мы давно уже отвергли религию наших отцов, их веру в быстрый и постоянный прогресс гуманности; банальным представляется нам, жестоко наученным горьким опытом, их близорукий оптимизм перед лицом катастрофы, которая одним-единственным ударом перечеркнула тысячелетние завоевания гуманистов. Но даже если это была иллюзия, то все же чудесная и благородная, более человеческая и живительная, чем сегодняшние идеалы, и в нее наши отцы верили. И что-то в глубине души, несмотря на весь опыт и разочарование, мешает полностью от нее отрешиться. То, что человек впитал с материнским молоком, остается в его крови навсегда. И вопреки всему тому, что каждый день мне приходится слышать, всему, что и сам я, и мои многочисленные друзья по

несчастью познали путем унижений и испытаний, я не могу до конца отречься от идеалов моей юности, от веры, что когда-нибудь опять, несмотря ни на что, настанет светлый день. Даже в бездне ужаса, из которой мы выбираемся ощупью, впотьмах, с растерянной и измученной душой, я снова и снова поднимаю глаза к тем звездам, которые светили над моим детством, и утешаюсь унаследованной от предков верой, что этот кошмар когда-нибудь окажется лишь сбоем в вечном движении Вперед и Вперед.

Сегодня, когда страшная буря развеяла в прах эти иллюзии, мы поняли окончательно, что мир надежности был воздушным замком. А все же мои родители жили в нем как за каменной стеной. Ни разу никакая буря, даже порыв ветра, не потревожила их теплое, уютное существование; правда, у них имелся дополнительный заслон: они были состоятельными людьми и постепенно становились все богаче, а это по тем временам служило надежным укрытием. Их образ жизни представляется мне до такой степени типичным, что, рассказывая об их безмятежном и незаметном существовании, я, собственно, не открываю ничего нового: точно так же, как мои родители, в тот век гарантированных ценностей в Вене жили десять или двадцать тысяч семей.

Семья моего отца происходила из Моравии. Еврейские общины жили там в небольших деревушках, в добром согласии с крестьянами и мелкой буржуазией; здесь не знали ни заботы, ни лстивой изворотливости галицийских, восточных евреев. Сильные и суровые благодаря жизни в деревне, они уверенно и достойно шли своим путем, как тамошние крестьяне – по полю. Вовремя избавившись от всего ортодоксально-религиозного, они были страстными сторонниками религии времени – «прогресса» и в эту политическую эру либерализма поставляли самых достойных депутатов в парламент. Если из родных мест они переселялись в Вену, то с поразительной быстротой приобщались к более высокой сфере культуры; их личный успех органически сочетался со всеобщим подъемом того времени. И в этом смысле наша семья была более чем типична. Мой дед со стороны отца занимался сбытом мануфактурных изделий. Во второй половине столетия в Австрии началось развитие промышленности. Благодаря различным усовершенствованиям ткацкие и прядильные станки, завозимые из Англии, невероятно удешевили производство тканей, прежде вырабатывавшихся вручную, и еврейские коммерсанты с их деловой сметкой, с их международной осведомленностью были первыми в Австрии, кто понял необходимость и прибыльность перехода на промышленное производство. На незначительные в большинстве случаев капиталы они основали те наспех построенные, поначалу использовавшие лишь энергию рек фабрики, которые постепенно выросли в мощную, простершуюся по всей Австрии и на Балканах богемскую текстильную промышленность. И если дед мой, как типичный представитель начального этапа этого процесса, служил лишь посредником в сбыте готовой продукции, то мой отец уже без колебаний шагнул в Новое время, основав на тридцатом году жизни небольшую ткацкую фабрику в Северной Богемии, из которой он затем неспешно, за несколько лет, создал солидное предприятие.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.